

Константин Леонтьев

Четыре письма с Афона



Константин Николаевич Леонтьев

Четыре письма с Афона

«Двенадцать лет тому назад я гостил долго на Святой Горе. Все, не только подвижническое, но и просто сказать – христианское, для меня тогда было *как будто* ново; но это, новое, было не в самом деле чем-то новым, но непростительно и легкомысленно забытым; и вот, живя на Афоне, я постепенно опять научился всем сердцем понимать те самые мысли и слова, которые я слышал давно и знал с детства, но которых истинный смысл был мною пренебрежен и не понят. Мне хотелось *по-своему* писать об этих словах и мыслях, об этих названиях и чувствах...»

Содержание

#1	0005
Письмо 1-е	0008
Письмо 2-е	0019
Письмо 3-е	0047
Письмо 4-е	0073

**Константин Николаевич
Леонтьев
Четыре письма с Афона**

Двенадцать лет тому назад я гостил долго на Святой Горе. Все, не только подвижническое, но и просто сказать – христианское, для меня тогда было *как будто* ново; но это, новое, было не в самом деле чем-то новым, но непростительно и легкомысленно забытым; и вот, живя на Афоне, я постепенно опять научился всем сердцем понимать те самые мысли и слова, которые я слышал давно и знал с детства, но которых истинный смысл мною пренебрежен и не понят. Мне хотелось *по-своему* писать об этих словах и мыслях, об этих названиях и чувствах. Хотелось писать на память, как вздумается. И вот я представил себе человека русского, образованного, думающего, который долго (подобно мне) жил без руководства веры... и, наконец, почувствовал потребность этого руководства. Обстоятельства жизни этого человека могли быть иные, чем мои, чувства – те же. Мне хотелось передать эти чувства, эту радость первого обращения и если не всю ту работу мысли, которая помирила во мне *реалиста с христианином*, то хоть часть ее...

Я желал, чтобы эти письма были легки, и

доступны, и живы. Я вообразил себе, что у моего вымышленного автора этих писем осталась в России молодая подруга – жена, невеста, дочь, младшая любимая сестра – это все равно... что, покинув ее *для Бога* (навсегда ли, если он должен стать монахом, на время ли только, – если он должен вернуться «в мир») – он хочет передать ей свои мысли; обратить и ее на свой путь для того ли, чтобы необходимая разлука и разрыв стали бы ей легче, или для того, чтобы духовная борьба и христианское сожитительство впоследствии были бы им приятнее при полном единомыслии. Поэтому я и выбрал форму изложения самую свободную, почти беспорядочную, я предпочел писать – *что писалось и как думалось...* без системы и очереди.

Долго лежали у меня эти письма, – я находил их незрелыми и не стоящими внимания; я думал, что они ценны только для меня; но недавно мне случилось прочесть эти избранные четыре письма в довольно многочисленном обществе *молодых людей...* Я увидел гораздо больше сочувствия, чем, признаюсь, мог ожидать от «современных» юношей.

Эта случайность навела меня на мысль – напечатать эти отрывки. Вреда от них, вероятно, никому не будет; а если будет хоть малая доля душевной пользы, – то вот больше ничего и не нужно!

К. Леонтьев

Москва. 1884 г.

Письмо 1-е

1 июня 1872 г. Св. Гора.

Вот уже более полугода как я живу на Афоне или скитаюсь по его окрестностям; но самое даже краткое пребывание за чертой его для меня тяжело.

Я многому научился и многое забыл. Я понял вещи, которые прежде мне были странны и чужды, и дивлюсь теперь, как могли они быть мне чужды.

Я многое видел и многое прочел. На столе моем рядом лежат Прудон и Пророк Давид, Байрон и Златоуст; Иоанн Дамаскин и Гете; Хомяков и Герцен. Здесь я покойнее, чем был в миру: здесь я и мир люблю, как далекую и безвредную картину... Я с удовольствием думаю иногда о жизни больших городов, о далекой родине нашей, о прежних друзьях, об умерших и близких нам людях...

Афон и от политических вопросов не отдаляет вполне человека, если он *хочет* сам за ними следить; конечно, гораздо менее, чем жизнь иных округов в России. Здесь ежедневно слышишь новости о Болгарском вопросе;

о переменах министерств в Царьграде; есть *оттенки* и на самом Афоне; газеты приносят европейские известия; беспрестанно приезжают из России поклонники и слышишь их суждения о наших внутренних делах... А между тем все тихо; жизнь течет правильно, без суеты и грома. Застоя нет; жизнь не засыпает и труд виден везде. В лесах встречаются тебе пешеходы, монахи, рабочие болгары или греки; бородатые поклонники русские; кавасы монастырские в фустанелле воинственной и с ружьем; встречаются мулы, навьюченные камнями, досками или чем-нибудь иным. Дороги чинят; над ручьями и пропастями подделаны прочные мостики; беспрестанно попадают кресты на поворотах и границах; фонтаны для проходящих и на них надписи благочестия; иногда в глуши леса видишь около дороги небольшую икону, вставленную в кору платана или дуба. На далекие расстояния проведена с гор хорошая вода по простым, деревянным желобкам... Путник идет и вода — то бежит рядом с ним по земле, то журчит и каплет сверху, когда желобок поднят на столбах и перекинут над дорогой... Везде из зеле-

ни кустарников и леса видны белые домики; это пустынные келий, целые хозяйственные жилища с домовыми церквами, и хижины, пустыньки без церквей. Там и сям воздвигаются новые постройки; строятся новые храмы, новые скиты и новые келий. Слышишь много жизни, но не видишь грома и суеты. Все здесь растет как-то незримо и без того шума неосмысленного и холодного, который так нестерпим иногда и в небольших городах, если только они увлеклись промышленным потоком...

Я многому здесь научился и многое узнал; впрочем, многого я и не видел; иные, приезжая на Афон, ищут с особенной любовью древностей; но я еще ни в одну монастырскую библиотеку не входил; рукописей древних не смотрел и смотреть не буду. Я верю на слово, что это все поучительно и драгоценно.

Легкая или тяжелая постройка собора; изящество купола; выбор цветов для окраски стен церковных и крыш, конечно, занимают меня гораздо более. Любопытно сравнивать древне-византийские здания с новыми постройками, или древнюю иконопись с нашей

нынешней русской, или даже замечать разницу в убранстве монастырских приемных у греков и русских. Можно легко убедиться, наблюдая все это, как почти все, что касается до внутреннего убранства храмов: иконопись, иконостасы, облачения – у русских лучше, чем у греков, как-то изящнее, *живее*, так сказать, и благолепнее. Пение наше церковное с греческим, ты сама знаешь, и сравнить нельзя! Зато у греков и болгар постройки лучше, больше вкуса, больше прочности, больше фантазии восточной и архитектурной поэзии; наши, к несчастью, слишком склонны, следуя полунемецкой казенщине нашей, к казарменным линиям, к белым штукатуренным прямым стенам, к зеленым крышам и куполам, тогда как зеленый цвет и для виду на *естественной* зелени самый невыгодный и неприятный и уже слишком напоминает загородный дом разжившегося русского немца. Вообще на русских постройках заметны слишком следы наших казенных архитекторов, воздвигавших по всем уездам и губерниям станции желтые, казармы белые, церкви белые с зеленым...

В греческих и болгарских комнатах и приемных также больше восточного простора и величавой турецкой простоты: ковер, диван вокруг стены, камин хороший в средней стене или даже русская печка; в иных приемных колонки, разделяющие комнату надвое, на возвышенную половину, на ту, где почетный диван, и на небольшое преддверие. На русских гостиницах для приезжающих очень тепло и во многом удобно; но русские уж слишком падки до плохой *европейской* мебели, до маленьких, неудобных диванчиков с разными зигзагами, до множества стульев, которые гораздо более были бы на месте в пещерах аскетов, чем в комнатах, которые назначены для успокоения и приема гостей. Большая также страсть к маленьким картинкам и множеству мелких фотографий по стенам; к вязанным *ajour* скатертям и к женским печатным дешевым платкам, которые служат здесь вместо столовых покрывал... Одним словом, в приемной греческой или болгарской как будто видишь перед собой почтенного турка в чалме и широкой одежде, курящего чубук; а в русских гостиницах скорее вспом-

нишь своего знакомого Карла Иваныча, которому Марья Ивановна готовит к именинам вязаный или вышитый по канве сюрприз.

Разумеется, изящество и *хорошая*, а не ложная простота в этом случае на стороне восточных жителей. Впрочем, относительно построек надо сказать в оправдание русских монахов две очень важные вещи. Конечно, я того мнения, что *комната*, жилище самого монаха, должна быть сурова, проста, пуста, даже тесна... Но весь *монастырь*, если он имеет средства, его храмы, все здания его должны быть красивы, изящны и величественны. У греков и болгар обители или давние, построенные еще по хорошим образцам и под влиянием более свободного полета идеальной мысли, чем нынешний ее полет, подстреленный утилитаризмом. Но наши монахи принесли сюда из России в воспоминаниях какие образцы?.. Можно ли их винить за недостаток вкуса, когда едва-едва с половины прошлого царствования высший круг наш, люди власти, и сами художники наши обратили более серьезное внимание на византийский стиль?.. После *голландских*, скромных вкусов

Петра Великого мы пережили Renaissance Казанского собора и гососо, и только очень недавно стало заметно более самобытное движение архитектурной мысли.

Иные люди находят, что попытки эти новые все еще довольно слабы, что Исаакиевский собор представляет собой нечто вроде верха св. Петра римского на корпусе какого-то английского банка; что милая, теплая, пестрая часовня, построенная на Невском проспекте, не легка, вдавлена в землю, что новая, Греческая церковь на Лиговке тоже имеет свои недостатки... Я не архитектор и не археолог; я в этом деле только *один голос из толпы*, но имею глаза и чувства. Я кой-что знаю и очень многого *не* знаю. Помню многие названия без смысла и знаю нередко мысль, но не умею ее назвать как следует. Но я, мне кажется, *все понимаю*, когда со мной говорят художники и археологи. Я хочу только сказать одно, что *нынешнее направление* архитектуры русской лучше, плодотворнее прежнего. Есть стремление к *личному творчеству в пределах обычая* или устава; а это, мне кажется, и есть *существенное условие своего стиля*.

Чтобы яснее представить это направление, лучше всего сравнить Зимний дворец с Новым Московским в Кремле; или вспомнить, как недавно у нас стали возможны такие дома, как дом Иерусалимского Подворья в Петербурге, около дома Белосельской. Итак, если наше высшее общество, наше государство, наш Двор, наша художественная интеллигенция, наша Академия только что вышли на лучший путь... то какое же право имеем мы строго судить вкус наших афонцев, которых вожди пришли сюда в 30-х и 40-х годах и дали, что могли... Другое оправдание для них вот какое. Старые здания у греков и болгар — старые; они оригинальны. А новые, например, в Зографе болгарском и в Ватопеде греческом, положим, прекрасны; они построены из хорошего тесаного камня, *не спеша*, со вкусом, с простором, с прочностью... Особенно зографские новые постройки великолепны, царственны!.. Но обе эти обители имели издавна большие имения в Бессарабии с определенными и верными доходами. Братия у них сравнительно не очень многочисленна. А русские монахи все почти теснятся в двух боль-

ших киновиях: в Руссике и в Серае или Андреевском скиту. Вообще на Св. Горе русских немного; на семь или восемь тысяч монахов наших, кажется, тысяча с небольшим; иные говорят, что и того не будет! Греки и болгары, хотя и в большем числе, но рассеяны по 19 монастырям, по нескольким зависимым скитам и по множеству пустынных келий, хижин, шалашей, пещер; русских же в Руссике около 400 (не считая постоянных поклонников, которых надобно поместить), а в Андреевском скиту больше 200. Имений больших нет ни у Руссика, ни у Андреевского скита. Устроились они очень недавно все на добровольные подаяния из России. Скит воздвигся необычайно быстро и вырос в целую обитель из одного патриаршего дома. В Руссике наши монахи, приглашенные греками, нашли почти одни развалины и бедность. Теперь это самый многолюдный и оживленный монастырь. И монастырь этот и скит св. Андрея и теперь все еще строятся, и все еще в них тесно.

Понятно после этого, почему в постройках русских видна спешность, потребность деше-

визны и первых удобств; узкие темные коридоры вместо широких и открытых зографских галерей; кирпич и штукатурка белая, или сероватая, или желтая вместо прекрасного тесаного камня Зографа и Ватопеда; простые четырехугольные окна на казарменных стенах вместо окон изящных, окруженных и широкими, иногда двойными с колонкой посередине, которыми любишь в греко-болгарских обителях. У русских обыкновенно приземистые трубы на крышах, в них и видишь только скучные обыкновенные трубы, видишь *пользу*, теплоту печей... Тогда как, подъезжая к Ватопеду, дивишься на целый лес мелких, круглых и высоких *колонок* с красными капителями наверху, покрывающих крыши солидных корпусов... Что такое это? Это тоже трубы, но трубы *неспешные*; это трубы художественные...

Да! Если рассматривать дело только с точки зрения результата и красоты, русские обители не очень хороши. Но если знать и помнить все трудности, с которыми русские монахи боролись, всю вынужденную обстоятельствами спешность созидания, быстрый

рост их обитателей; бесчисленные и сложные заботы, которые обременяли их духовных вождей на чужой стороне: неопределенность доходов, долги, требования некоторого рода дипломатии при всем этом, то критическая строгость умолкает и остается одно чувство – уважение к их практическому уму и нравственной силе.

Скажу еще вот что: и в Руссике, и в Андреевском скиту *прежде всего* позаботились о красоте и богатстве храмов, а *потом* об удобствах для посетителей и о помещении для братии. В обеих обителях иноки, видимо, считали долгом деньги благотворителей употребить прежде всего на украшение церквей своих.

Так понимают афонские монахи свой долг! Чтобы яснее видеть, что такое *честное* монашество, стоит только из церкви, где блистает золото, серебро, хрусталь, дорогие иконы, облачения дорогие, – пойти в тесную, душную комнату монаха или спуститься в трапезу, где братия ест «*травку и травку*», как писал г. Благовещенский в своей книге об «Афоне».

Письмо 2-е

24 июня 1872 г.

Монашеские характеры, я, кажется, писал тебе, на Афоне очень разнообразны. Правила и образ жизни, уставы, степени отречения, подчинения и свободы также очень различны.

Как ни грустно мне, как ни занят я сам собою и тысячей вопросов, которые теперь для меня вопросы жизни и смерти, я не могу не видеть того, что меня окружает здесь.

Самые эти вопросы, которые я беспрестанно должен задавать себе, вынуждают меня иногда быть внимательным к тому, что происходит вокруг меня. Я хочу поучаться примером других и испытывать себя путем сравнения.

Я не стану говорить тебе, сколько здесь монастырей, скитов, монахов. Ты все это найдешь, если захочешь, подробно изложенным в других книгах и статьях... Отыщи их, если тебя это занимает. Можешь прочесть, например, небольшую статью «Панславизм на Афоне» в «Русском вестнике» за этот год. Там это

все есть.

Святогорец говорит, что на Афоне монаху предстоит по крайней мере до восьми различных образов жизни. Я нахожу, что их гораздо больше, если считать уклонения и оттенки.

Но пусть будет 8. Я перечту на память:

1. *Киновии*: общежительные монастыри, где все общее, где все равны. Большая строгость.

2. *Идиоритмы*, монастыри своеобразные; не строгие; где не все общее и где каждый имеет значительную долю свободы.

3. *Отдельные келий* (дома с домовыми церквами) вне монастырей. Жизнь вдвоем, втроем и т. д. без определенного устава.

4. *Каливы* — пустынные хижины без домовых церквей.

5. Жизнь в *скитах русских*; наподобие общежительных монастырей; в общих «корпусах» зданий.

6. Жизнь в *скитах греческих*: наподобие села, состоящего из отдельных домов или келий; устав строгий, но образ жизни, подходящий с некоторых сторон на *идиоритмы*.

7. Отдельные *монашеские* квартиры на *Ка-*

рее, афонском городке.

8. Пещеры в лесах, по берегу моря, в безлесных скалах; просто под камнями, под открытым небом.

Поговорим о самой главной форме святогорской жизни – форме киновиальной.

В киновиях все более или менее равны, все подчинены одинаково и безусловно избранному обществом игумену и помощникам его, главным духовникам. *Собственности* не сохраняет при себе никто. Все отдается в *общую* кассу; но в случае неудовольствия и твердой решимости оставить монастырь хорошее монастырское начальство выдает обратно непокорному сыну внесенный им вклад.

Киновии могут служить прекрасным предметом изучения для самих коммунистов. Изучая киновии, можно допустить, что коммунизм, не как всеобщий закон, а как *частное* явление общественной жизни, возможен, но лишь под условием величайшей дисциплины и даже, если хочешь, страха. Эта дисциплина, этот страх не материальной природы; это несокрушимая *идеальная* узда веры, любви и почтения. В страхе христианском ес-

ли и есть эгоизм, то есть забота о загробном спасении души при *разочаровании во всем земном и непрочном*, то называть этого рода заботу эгоизмом (как выдумали многие и не из крайних просветителей нынешнего человечества) было бы уже слишком недобросовестной натяжкой! Положим, думать о *загробном* спасении – эгоизм; но благодаря этому воздушному, туманному, отдаленному и неосязательному эгоизму от скольких движений эгоизма грубого, *земного*, ежедневного освобождается хороший христианин! Какое высокое забвение личного своенравия! Какая покорность идее! Солдат, и не слишком плохой, быть может, и патриот, в иную минуту не бежит из полка от материального страха, от боязни, что его расстреляют, прогонят сквозь строй или сошлют на каторгу. Монах-киновиат в самую тяжкую минуту (а как часты эти тяжкие минуты в многолюдной и трудовой общине!) не бежит из обители от одной *идеальной* боязни *греха*, то есть от страха оскорбить и прогневать Божество, Которое его создало и дало ему разум и волю для внутренней борьбы против злого начала, прису-

щего мирозданию.

Уничтожь в себе *волю!* Тебе не хочется сегодня молиться? Молитвы тебе кажутся сухими; они ничего не говорят твоему воображению и сердцу. «Молись! – говорит духовник. – Поверь мне, сын мой, что начнешь ты с досадой и тоской, а встретишь потом одно или два слова в этих заказных молитвах, от которых вдруг раскроется душа твоя в радости и ты будешь утешен и награжден тут же за твое усилие». И это правда. Я это сам испытал...

Уничтожь в себе *волю!* Ты хочешь спать? Звонят к заутрене в полночь. Ты хочешь есть? Потерпи. Ты хочешь разговаривать вечером с другом, особенно если ты молод? *Старый батюшка*, старший духовник, обходит коридоры и стучит в вашу дверь, предлагая разойтись и не договариваться по неопытности до предметов, которые могут после смутить вас и быть вам вредны. Хочешь ты прочесть новую книгу? Без *благословенья* нельзя. Сижу я теперь, перед вечерней, в моей келье; минута свободная нашлась. Я видел у приезжего мирянина, кажется, хорошую книгу на столе; духовную, вероятно, книгу, писанную светским

человеком: «Сущность христианства». Отчего бы ни прочесть ее? Но духовник, измученный недугами и бдением ночным, лег отдохнуть. *Старец* мой (особый наставник иноческой жизни, которому я поручен) занят теперь делом. Я не смею прочесть эту книгу. Потом, улучив минуту, прошу благословить. «Нет благословения читать тебе эту книгу».

Я огорчен и сообщаю мимоходом свое горе другому монаху, ученому; он был в академии, и книгу эту недавно я видел в его руках.

Ты не *понесешь* этой книги, – отвечает он мне, – ты еще легкомыслен.

Вот и оскорбление! Горе? Нет! Оскорблению надо радоваться; и еще больше, когда оно *незаслуженно*. Чем же я легкомыслен? Не тем ли, что, покинув мать, отца, дом в дальней родине и деньги, быть может, и молодую невесту, театры и гулянья городские?! Да! Быть может, этот монах, который меня, бедного, назвал легкомысленным, и не прав. Но я не знаю этого *наверное*, и потому лучше думать, что он прав; не гневаться мне на него надо, а благодарить и благословлять его. Я иду к нему и падаю ему в ноги: «Простите,

отец, я осуждал вас сегодня за ваши слова о моем легкомыслии». Он отвечает мне тоже земным поклоном. Мы примирены. Я рад, я счастлив! Но надолго ли я спокоен совестью? По природе моей я или вовсе незлобив и не вспыльчив, или обладаю твердой волей, которая иногда довольно легко овладевает моими увлечениями. Такие случаи, в которых я обнаруживаю мое смирение, мою доброту и покорность, повторяются часто. Я как будто счастлив и спокоен; здоровье мое крепко и позволяет мне выносить без худых последствий долгое пение в церкви, бдения ночные во храме в обыкновенные дни по четыре часа, а под иные праздники по тринадцати часов, до самого рассвета. Силы мои, слава Богу, так свежи, привычка к телесным, монашеским подвигам у меня уже так сильна, что я, простоявши всю ночь на ногах в *стасидии*[1], могу еще наслаждаться тем, что утренняя заря за морем занимается именно в ту минуту, когда во храме нашем возглашают: «Слава Тебе, показавшему нам свет!»

Да, я счастлив; братия хвалит мое усердие и мое незлобие; сам старый батюшка иногда

улыбается милостиво, благословляя меня, когда я ему кланяюсь, и говорит: «Ну, что ж ты, ветрогон, благодушествуешь теперь, я вижу, мирствуешь, благодаря Господа?»

И вот... неслышно, незаметно начинает поедать душу мою тайный червь – *гордости*; но какой гордости? Не мирской вашей гордости, которая кичится властью, деньгами, победами над *другими людьми* в спорах, в делах, в торговле, по службе государственной или в общественных успехах... Здесь идет речь не о той гордости, которая у мужчины говорит ему: «Ты молодец!» А у вас, женщин: «Ты красива, ты мила, умна, обворожительна и т. п.» или более *по моде*: «Ты современна, ты развита, ты независима, не подчиняешься обществу, в котором живешь». Нет, здесь поедает душу гордость иного направления, *гордость христианская, подвижническая*; воображение, что я уже *безукоризнен*, что я *почти святой!*

«Вот, – говорит мне внутренний соблазнительный голос, – ты лучше других. Тот из простых мужиков, а не может стоять так долго, как ты стоишь в церкви; тот ленивее тебя; тот

помнит зло; тот все хитрит... А ты? Ты незлобив, ты всем покоряешься, ты все выносишь; у тебя нет гордости, нет своеволия; ты не лукав, ты прост, как св. Павел, сподвижник Антония Великого, которого прозвали *препростой*. Ты вынослив на телесный труд, как Даниил Столпник, которого буря качала на столбе, а он молился, которого дождь обливал и мороз доводил до полусмерти, а он лишь благословлял Бога за все это. Ты ласков и добр с людьми, как св. Моисей Мурин (ефиоплянин); он был разбойником прежде, покаялся и подвижался в одной обители с суровым Арсением Великим и сверх святости его строгой жизни в монастыре его все любили за ласковый и приветливый нрав. Да, св. Моисей был из разбойников; он до покаяния своего был многогрешен. А я покинул юношей кров родительский и пришел сюда таким же девственником, как св. Иоасаф, юный сын царя индийского, который устоял против всей роскоши и против целого гарема молодых красавиц, окружавших его по желанию отца».

«Вот сколько у меня добродетелей!»

Чего же было бы лучше этого внутреннего

самодовольства, мой друг? Не именно ли того ищут в миру у нас самые лучшие, умные, благородные люди?

Не имеем ли мы право уважать человека, который предпочитает внешним успехам, богатству, блеску, наслаждениям веселого разврата – свою *внутреннюю гордость*, свое сознательное, честное самодовольство? Ведь это почти *идеал*, ты скажешь мне, по нынешним понятиям. Да, я с тобой согласен, что в *миру* иногда нельзя и требовать большего от хорошего христианина. Когда бы было побольше и таких! Жизнь светского человека слишком шумна и заботлива; особенно нынешняя жизнь, в которой столько и развлечений и нестерпимого, спешного труда, в которой так слабы впечатления церковные, так отстранены на второй план множеством других сложных и обременительных впечатлений; воспитание истинно христианское, *осмысленное* так редко! Знание истинного духа христианства ныне так мало распространено! Возможно ли при этих условиях требовать, чтобы люди, обремененные семейными, государственными, учеными и хозяйственными

ми заботами, успевали вникать ежечасно в смысл своих внутренних чувств? Да многие ли нынче из образованных людей ясно понимают этот дух христианской Церкви?

Люди, вовсе не признающие Ренана авторитетом, люди, не дерзающие и сомневающиеся в божественности Иисуса Христа; люди, которые, с другой стороны, готовы стереть с лица земли всякого, кто бы коснулся иноземной, вражеской или революционной рукой *народной, русской* Святыни православных храмов, мощей, икон (я говорю *народной святыни* – понимаешь?), – и эти люди, вследствие легкомыслия, незнания или каких-нибудь обстоятельств, воображают, что они поняли Христа, если знают твердо, что Он *простил блудницу*, что Он оправдал *грешного мытаря*, что Он велел быть *добрым к ближнему*, благословил иноверного самарянина за его доброту и осудил еврейских – священника и левита, за то, что они не помогли израненному путнику.

И только! Доброта, прощение, милосердие... Они взяли лишь одну сторону Евангельского учения и зовут ее *существенной сторо-*

ной! Но аскетизм и суровость они забыли? Но на гневных и строгих Божественных словах они не останавливались? О том, что Иоанн Предтеча, у которого Спаситель крестился, был монах в высшей степени, они не знают? О сорокадневном посте Самого Христа в пустыне они не думают? О догмате греха первородного, о духе тьмы, о догмате Троицы христианской они молчат; а это все есть в Евангелии и в Апостольских письмах.

Нельзя, принимая святость Евангелия и божественность Христа, отвергать одно место в книге и выбирать *по вкусу* другие. Все мягкое, сладкое, приятное, облегчающее жизнь, принимать, а все грозное, суровое и мучительное отвергать, как несущественное. Что-нибудь одно: или Ренан и Штраус – *правы* или *все существовадно!*

Религия *всепрощения*; да! Но вместе с тем и религия самобичевания, покаяния, религия не только неумолимой строгости к себе, но и разумной строгости к другим.

«Иди и не греши...» – сказал Христос, прощая блуднице. Он не сказал: «Иди, ты права!»

Первоначальная, Православная Церковь,

эта *византийская*, высокая культура, столь оклеветанная враждебными ей церквами и так плохо понятая теми прогрессистами, которые с половины прошедшего века поверили в осуществление реального Эдема на этой земле, – вся эта *особого рода* культура, весь этот особый род просвещения был лишь *развитием*, объяснением основного Евангельского учения, а никак не искажением его, как думают те, которым бы хотелось из христианства извлечь один лишь осязательный практический утилитаризм. Впрочем, не одни утилитаристы так думают; так думают нередко и люди религиозные.

Ты помнишь, мой друг, мою воспитательницу? Ты сама любила и уважала ее. И, конечно, она в высшей степени заслуживала этих чувств. Всю жизнь в борьбе с нуждою, вскормленная у отца в богатстве, самолюбивая, умная, высокообразованная, привычная ко вкусам и понятиям самого высшего общества времен Александра I, она должна была всю жизнь свою пересоздать, перестроить не так, как хотело ее воображение; окружающие не умели вполне ценить и понимать ее; боль-

шинство детей ее было гораздо глупее и ниже ее; они больше боялись, чем любили ее, и не постигали ее изящных и вместе с тем строгих требований. Она стала взыскательна, раздражительна, иногда несправедлива в гневе; ты это все знаешь, но ты знаешь также, какая глубина благородства, любви и какой-то *мрачной доброты* проявлялась в ней до последнего издыхания...

Мир ее высокой душе! Мир подай, Господи, ее страдальческому праху!

Однако... и эта просвещенная, эта необычайно умная женщина платила дань тому полулиберальному, полухристианскому веку, в котором выросла и жила.

Она, например, не любила постов и не содержала их, кроме дней говенья, не любила монахов, не любила духовенства вообще. Говеть – она говела, как ты знаешь, и плакала даже почти всегда на исповеди у простого сельского духовника своего. Она утром и вечером понемногу молилась и, закрывая Ж. Санд или Дюма, бралась нередко за Евангелие с большой любовью. Но я замечал, что *житий* она не читала, хотя, конечно, с детства кое-

что помнила из них. К мощам на поклонение, впрочем, она заезжала не раз в течение своей жизни, но и тут, я помню, она полушутя говорила мне: «Я гораздо больше люблю своего милого Димитрия Ростовского, чем св. Сергия Чудотворца.

C'est plus comme il faut а Ростов[2]. Тихо так; зайдешь и помолишься, А уж Сергей такой демократ! Мужиков и нищих бездна! Je ne puis pas souffrir tout cela[3]; хотя я и знаю, что это грешно!..»

Милая и строгая тень моей благородной благодетельницы! Я верю в загробную жизнь; но какова она – кто знает?

*На крест, на могилу;
На небо и землю
Творец Всемогущий
Печать наложил...*

Видишь ли ты, как я пишу эти строки? И если видишь, то как? Так, как мы: с участием? – с улыбкой? – с прощением? – с человеческим чувством? Или иначе – я не знаю!..

Но я прошу тебя, тень святая моей памяти, прости мне, если я скажу, что и ты платила дань веку, не понимая иногда Православия и

отделяя его от какого-то особенного, *простого и чистого* христианства! И от тебя я слышал не раз, что учение Евангельское просто и доступно, но что духовенство исказило его, прибавив слишком много *сложного...*

Боже! Но мог ли краткий и простой *рассказ* Евангелистов, не развиваясь далее, объединить в едином *учении* такое множество разных народов: греков, евреев, галлов, славян, египтян, римлян и сирийцев?..

Сложность необходима для единства, по мере расширения поприща во всем. И Христу угодно было предоставить первоначальное учение Свое обыкновенным законам развития всего земного.

Именно слишком *свободное* понимание первоначального учения и породило столько вредных ересей, борясь против которых Церковь развивала постепенно и естественно трудную философию, единый, но изящный и сложный обряд; нравственность – одну по цели и духу, но разнообразную и сложную по частным, живым оттенкам... Да! Миряне, и верующие даже, нынче плохо знают свою веру. И потому, отчасти извиняя им, Церковь го-

ворит: «Иное – мирянин, обремененный в наше время такой бездной настоятельных забот и потребностей; иное дело – монах, которому вся обстановка его должна помогать для достижения высшего христианского идеала, который выразился в словах: *«Царство Мое не от мира сего»*.

И мирянин, который воображает, что он всегда прав и никогда не имеет мужества или простодушия сознаться громко в своих ошибках и проступках, возмущает нас и внушает нам отвращение, помимо всякого религиозного чувства. Не раз, я думаю, и тебе случилось предпочитать человеку, который во всем себя оправдывает, такого, который говорит грубо и твердо: «Да! Я знаю, что не прав, но я так хочу и сделаю по-моему!» Тебе, конечно, нравилась эта прямота и самобытность во зле. Но суждение это не нравственное, а эстетическое. И демон привлекателен, иначе он не был бы искусителей...

*Господень Ангел тих и ясен,
Его живет смиренья луч,
Но пышный демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч.*

Помню я, что Белинскому не нравился этот стих: «Его живет смиренья луч». Он, кажется, находил смысл его неясным.

Для меня (*теперь*) он очень ясен. Искреннее смирение, вечная тревога неопытной совести о том, чтобы не впасть во *внутреннюю гордость*, чтобы, стремясь к безгрешности, не осмелиться почесть себя святым; чтобы, с другой стороны, преувеличенными фразами о смирении своем и о своем ничтожестве не возбудить греховного чувства отвращения в другом, который мою неосторожную *выразительность* готов как раз принять за лицемерие. Эта сердечная борьба, особенно в монахе молодом, – исполнена необычайной жизни, драмы внутренней и поэзии. Идеал искреннего, честного монаха – это приблизительная бесплотность на земле; гордость, самолюбие, любовь к женщине, к семье, к спокойствию тела и даже к *веселому спокойствию духа* *постоянному* – должны быть отвергнуты *Бесстрастие* – вот идеал. Истинное, глубокое, выработанное бесстрастие придает после начальной борьбы самому лицу хорошего инока *особого рода выразительность и силу...*

«Его живит смиренья луч...»

Да! Путь и просто христианский, а тем более монашеский труден!

Раскрой книгу Иоанна Лествичника о монашеской жизни. Что ты увидишь? Каждая добродетель грозит тебе грехом. Уединение в особом жилище пустынном, в лесу или в горах грозит тебе то *внутренней гордостью*: «Я свят», то *унынием* и отчаянием: «О, я погиб, я ни на что не годен; не хочу ни молитвы, ни рукоделья, ни размышлений о Божестве!» Жизнь в многолюдной обители угрожает тебе: тщеславием (посмотрите, братья, и вы, мои добрые миряне-посетители, какой я набожный, смиренный, какой я примерный инок!); завистью, при виде какого-нибудь малейшего предпочтения или внимания другому; гневом – при каких-либо столкновениях, неизбежных в тесно живущем обществе.

У свободного пустынножителя доброта душевная, желание раздавать милостыню нищим монахам или мирянам может тоже переродиться или в сребролюбие для себя, или в тщеславие и гордость вследствие лести и благодарений, которыми бедные начнут меня

осыпать. Под предлогом приобретения для раздачи *другим* я могу начать приобретать побольше и для себя и буду радоваться, как осужденный Христом фарисей, что *десятую* часть раздаю нищим.

Во всем и везде нравственная опасность. «Рассудительность, говорят опытные иноки, располагает к жестокости; снисходительность – к греховному потворству себе и другим; недостаточные телесные подвиги, слабый пост, малая молитва, не утомительный телесный труд – дают в организмах сильных слишком много простора плотским страстям и сладострастной фантазии... И наоборот – чрезмерное утомление тела, не по силам природным, наводит духовную усталость, уныние, отвращение от начатого пути, располагает к фантазиям, характера более мистического, положим, но все-таки лживым и вредным для здорового и постепенного совершенствования в монашеской жизни».

Такова постоянная внутренняя борьба, преследующая добросовестного инока иногда и до гроба.

Если ты, читая мои первые письма, поду-

мала, что монастырь есть всегда «тихая пристань» для нашего внутреннего мира, ты ошиблась.

В монастыре или в пустыне ищут, правда, спокойствия, но какого?

Спокойствия христианской совести, сознавшей свои прежние проступки или испуганной еще при самом вступлении в жизнь водоворотом страстей, обманов, огорчений, водоворотом, который кипит и клокочет вокруг каждого человека со дня его вступления в эту горькую жизнь земную!

В обители многолюдной, но стройной, дисциплинированной разумно и добросовестно, в скиту лесном с тремя-четырьмя товарищами, в хижине – старец вдвоем с покорным послушником или молодой послушник вдвоем с любимым старцем-повелителем – везде монахи ищут забвения мира и его борьбы, его горя и его наслаждений; но лишь для того, чтобы, отдохнувши ненадолго, начать новую, иного рода внутреннюю борьбу – для того, чтобы узнать новые горести крайне жгучие и новые радости, новые наслаждения, которых тебе и не понять, пока сама их не испытаешь!..

Знаешь ли ты, например, что за наслаждение отдать все свои познания, свою образованность, свое самолюбие, свою гордую раздражительность в распоряжение какому-нибудь простому, но опытному и честному старцу? Знаешь ли, сколько *христианской воли* нужно, чтобы убить в себе *другую волю*, светскую волю?..

Я улыбаюсь отсюда, воображая твой гнев и твое удивление при чтении этих *моих* строк...

Не правда ли, ты восклицаешь: «Хорошо! Но какая же *польза* во всем этом?»

На этот вопрос я тебе отвечу тоже вопросом: «А ты знаешь, что такое *всеобщая польза!*»

Если ты в силах ответить мне на это серьезно, *глубоко и научно*, если ты можешь сказать мне о пользе что-нибудь убедительное, *математически* точное, а не социально-чувствительное, что-нибудь такое ясное, перед чем я бы задумался, то я согласен не хвалить более ни того, что вы зовете *мистицизм*, ни монахов, ни Афонскую Гору.

А так как я знаю, что ни ты, ни вся стая ваших прогрессивных пустозвонов, все сотруди-

ники «Вестника Европы», «Голоса» и «Дела» не в силах объяснить мне научно и точно, что такое *по-ихнему всеобщая польза*, то я предлагаю тебе избрать лучше путь смирения, молчать и *слушать меня внимательно*.

Прежде всего, кончая это письмо, я спрошу тебя, понимаешь ли ты, что значит слово *эвдемонизм*? Конечно, нет!

У греков для выражения идеи *счастья* есть два слова. Одно – *эв-тихия*; это значит *внешнее* счастье, удача, хорошая судьба; а другое *эв-демония* – *внутреннее* счастье, субъективное довольство, *благоденствие*... Ты согласишься, что это огромная разница?

Потрудись же запомнить, мой друг, слово *эвдемонизм*; я буду часто употреблять его, ибо так лучше всего назвать ту новую *религию*, которую проповедуют нам либералы и прогрессисты всех стран еще с XVIII века. По-моему, все остальные названия неверны; они все менее широки и не касаются самой сущности, самого основного догмата этой новой веры *во всеобщее земное благоденствие*, которое ныне должно составлять *конечную цель* человечества.

Реализм обозначает в науке лишь *методу*; в искусстве – *любовь к осязательным мелочам* будней наших; отсутствие лиризма в приемах и духе. Реализм сам по себе не отвергает и не принимает никакой религии, никакой социальной тенденции, никакой философии. Он *игнорирует* их; с чистым реализмом ум наш *свободен за пределами явления*.

Если мы скажем *прогрессизм*... Это будет неверно. Прогресс значит движение вперед. Но я имею право спросить, что такое движение вперед? Вперед можно идти к старости, к смерти, к разорению; вперед можно идти не к лучшему, а к худшему. Человек может верить в нынешний прогресс, не сочувствуя ему; француз умный может верить, например, *прогрессу своей Франции*... Но куда?.. К разложению... Так верил бедный Прево-Парадоль, который застрелился. Он, конечно, не сочувствовал этому прогрессу Франции.

Демократизм – слово одностороннее и выражает только юридическую или политическую сторону вопроса. *Равенство прав* считается лишь одним из главных условий для торжества новой *эвдемонической* религии.

То же самое и либеральность.

Коммунизм – экономическое понятие.

Коммунистами можно назвать и монахов общежительных монастырей; но они коммунисты для отречения, для *аскетизма*, а не для земной чувственной *эвдемонии*, которой аскетизм христианский есть *сильнейшая антитеза*.

Материализм есть термин столь же односторонний, сколько и *демократизм*, например; последний имеет смысл только юридический, а первый – только философский. Можно быть материалистом и *не верить* в земное благоденствие и даже не любить его. Любопытно, что из *поэтов* многие были *материалистами*; но *всеобщесухой эвдемонии* все они, видимо, терпеть не могли. *Нигилизм* еще хуже; во-первых, Кельсиев еще прежде меня хорошо возражал, что это слово значит *отрицание всего*, а люди, которых прозвали *нигилистами*, имели хотя бы и ложный или вредный идеал, но очень ясный, *положительный*: республика, атеизм, экономическое равенство... А во-вторых, слово «нигилизм» соединилось в наших русских привычках и

представлениях, с легкой руки Тургенева, с чем-то отчаянным, свирепым, всеразрушающим, сибирским, революционным...

Но нигилистов таких бурных мало везде, а эвдемонистов множество, и очень честных, скромных, везде таящихся, пишущих, служащих, торгующих, даже... даже... у нас, в России, я боюсь, в среде молодых людей, одетых в *рясу цереев...*

Эвдемонизм – это вера в то, что человечество должно достичь тихого, всеобщего блаженства на этой земле.

Разве только революционеры и государственные преступники верят этому идеалу? Не служат ли ему тысячи людей везде полусознательно... подкапывая наивно то один, то другой оплот, то из честолюбия личного и моды, то из вялого и не зоркого добросердечия.

Прогрессист, пожалуй, в известном смысле может вовсе не быть эвдемонистом.

Например. Православный человек может думать так: За днем следует ночь, за ночью опять утро. Теперь вечер... Итак, если поток уже неотвратим, то пошли Бог, чтобы скорее уже настала ночь, чтобы я видел зарю воз-

рождения той Веры, которую я считаю истинной. Ибо, даже говоря исторически, лучше ее не было и не будет на земле... Вперед! Вперед! Слава Богу...

Умеренные эвдемонисты ужаснулись горящего Парижа. *Либерал-эвдемонист* Жюль Фавр послал циркуляр, повсюду привлечший внимание *монархических* правительств на замыслы международной ассоциации, желающей тоже *общего блага*, но не по-фавровски.

Ренан простирает с отчаянием руки к *католическому* прошедшему Франции... Тем лучше. «Вперед, вперед!..»

Запомни же, прошу тебя, это имя новой веры, обещающей всебуржуазный, всетихий и всемелкий Эдем на нашей, до сих пор еще, слава Богу, как будто бы капризной и причудливой земле.

Цель – *всеобщая польза*, понятая как *всеобщее, внутреннее, субъективное довольство*; средства – у дерзких – кровь, огонь и меч, словом, новые страдания; у осторожных, лицемерных или робких – проповедь однообразного реализма, всеобщего ограниченного знания, всеобщей бездарности и прозы!

Если бы я хотел все это забыть здесь на Афоне, то не мог бы.

Субъективный эвдемонизм есть в высшей степени *антитеза* христианского аскетизма, как я уже сказал.

И тот, и другой имеют в виду прежде всего личность, душу человеческую (индивидуума); но один говорит: всё на земле и всё для земли; а другой – ничего на земле; ничего для земли. «Царство Мое не от мира сего!»

И в то же время (какая странная игра идей! Какое переkreщивание исторических законов!) – в то же время аскетизм христианский подразумевает борьбу, страдания, неравенство, то есть остается верен *феноменальной* философии строгого реализма; а эвдемоническая вера мечтает уничтожить *боль*, этот существенный атрибут всякой исторической и даже животной *феноменальности*... Христианство сообразнее на практике с земной жизнью, чем эти – холодные надежды бесполезного прогресса!

Письмо 3-е

16 июля 1872 г.

Я очень люблю отыскивать у наших светских поэтов православные христианские мотивы. Ты уже заметила, я думаю, из моих прежних писем.

У Кольцова, у Пушкина их много. Но у Лермонтова больше всех. «По небу полуночи Ангел летел» прекрасно, но христиански не совсем правильно. В нем есть нечто еретическое; это идея о душе, приносимой извне на эту землю «печали и слез». Это теория Платона, а не христианское понятие о появлении души земного человека *впервые* именно на этой земле.

Зато «Молитва», «Ребенку», «Ветка Палестины», некоторые места из «Купца Калашникова», из самого «Демона» могут выдержать самую строгую православную критику и благоухающей поэзией своей могут сделать иному сердцу больше пользы (видишь, как это понимание пользы шатко: статистик твой скверный сказал бы – *вреда*), больше пользы, я говорю, чем многие скучные проповеди.

Есть у Лермонтова одно стихотворение, которое ты сама, я знаю, любишь... В нем надо изменить одну лишь строку (и, мне кажется, он сам изменил бы ее со временем, если бы был жив), и тогда оно прекрасно выразит состояние моей души теперь. Без этого изменения, сознаюсь тебе, оно теперь было бы мне противно, ибо напомнило бы мне все то, о чем я так рад забыть:

*Выхожу один я на дорогу —
Сквозь туман кремнистый путь
блестит.
Ночь тиха; пустыня внемлет Бо-
гу
И звезда с звездою говорит...*

Да! Для меня теперь жизнь на Афоне почти такова.

В последнем письме моем я говорил о том, что и в обителях, и в пустыне человек не может достичь полного спокойствия. Борьба и горе, ошибки и раскаяние не чужды ему везде. Я говорил о той внутренней, духовной борьбе, которая есть удел каждого честного, убежденного инока.

Но ты не думай опять-таки, что монастырь

есть какой-то ад. Это опять будет крайность. Не Эдем нерушимого земного спокойствия, и не ад. Монастырь есть жилище человеческое, с особыми горестями и особыми наслаждениями. Человек, чтобы иметь эти особые радости, решается на особые, сопряженные с ними горести, стеснения, падения и подвиги. Вот и все.

Мне, как *непостриженному*, как гостю, достался пока еще один только *благой удел*... Созерцание, беззаботность обо всем внешнем, о материальных нуждах, например, по временам почти полное приблизительное спокойствие...

*Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть,
Я ищу свободы и покоя,
Я б хотел забыться и заснуть.
Но не тем холодным сном моги-
лы
Я б желал навеки тут заснуть.
Чтоб в груди дрожали жизни си-
лы.
Чтоб, дыша, вздымалась тихо
грудь, —
Чтоб всю ночь, весь день, мой*

*слух лелея,
«Мне про Бога» сладкий голос пел;
Надо мной, чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.*

Не думай, однако, что и вид других, вид настоящих монахов внушает скуку, тоску или какое-нибудь постоянное сожаление.

Есть минуты, в которые действительно на них тяжело смотреть. Например – Великим постом; и особенно в Страстную неделю. Тогда в самом деле непривычному человеку страшно немного смотреть на эту нескончаемую службу в храмах, на эти бессонные ночи и на полное воздержание от пищи и питья в иные дни. Только певчим, для поддержания их сил, дают в такие дни по куску хлеба.

Но когда вспомнишь, что этих людей никто здесь насильно не может удержать, что у многих есть даже и хорошие средства к жизни, которые они могли бы себе вернуть из кассы без всяких юридических препятствий (о нравственных я не говорю)... тогда и эти дни слишком тяжелого, хоть самовольного подвига, производят совсем иное впечатление. Люди хотят этого сами; они рады этим

тягостям, они не хотят отказаться от них...

Воля твоя! Но презренны и смешны становятся рядом с такой идеальной жизнью, с такими идеальными радостями ваши «каскадные» увеселения, ваша нынешняя, средней руки, мелкая, дряблая роскошь из картона, бронзы и папье-маше!..

Зато как все веселы на Пасхе! Впрочем, о Пасхе я уже прежде писал тебе.

В обыкновенное время многолюдная, хорошо управляемая киновия производит на посетителя успокаивающее и скорее даже веселое впечатление. В киновии унынию мало места. Взаимные примеры, обоюдное возбуждение; довольные, спокойные лица; каждый знает свое дело, у всякого свое разумно выбранное назначение. Самый вещественный из трудов облагорожен своим духовным смыслом. Дрова ли ты рубишь, или землю роешь в саду и винограднике, комнату ли ты метешь, хлебы ставишь в печь, управляешь ли ты небольшим имением монастырским, даже за чертой Афона, и тамходишь в сделки с мирянами, продаешь и покупаешь, нанимаешь работников и рассчитываешь их; быть может, иногда

даже споришь и ссоришься с ними; при всех этих трудах, вовсе не духовного свойства, тебе ежеминутно присуща мысль, что ты трудишься не для себя и не для труда самого (как советуют многие нынешние материалисты, что за скука!), но для обители, которая тебя приняла в свою среду. И если ты при этом хоть сколько-нибудь самосознателен, опытен, начитан в Писании, то тебе на ум легко при всякой работе может прийти такой ряд мыслей: «Мой простой, рабочий или торговый труд нужен обители, обитель нужна Церкви, ибо монастыри суть лучшие склады преданий и обычаев церковных, они – средоточия, из которых обыкновенно исходят, по совершении общежительного испытания, и самые высшие аскеты в лесные хижины и пещеры; монастыри суть неподвижные звезды Церкви, от которых далеко льется свет на весь Православный мир. Свет этот может быть бледнее, тусклее по временам; монашество может слабеть и падать нравственно; оно может даже вырождаться и становиться грубым и порочным; но в этом виновато мирское же общество, не отдающее в обители лучших

своих представителей; виновато большинство, не выносящее даже и подобия аскетической жизни, а не сам аскетический этот идеал и те немногие, которые остались ему верными слугами!.. И вот, когда случится мирянину, погруженному в «житейские попечения» до невозможности какого бы то ни было богомыслия, увидеть перед собой в *наше время* высокого подвижника в пещере или лесной хижине, подвижника, которого вся жизнь, все попечения – только одно это богомыслие, как бывает поражен и тронут этот далеко удалившийся от духовного настроения человек!.. Мне скажут на это: «Да, пустынник, быть может, и полезен в этом смысле; но *обыкновенный* монах? Монах рабочий, хозяйственный, практический монах, хлопотун по соборам и доходам обители? В нем-то какая святость!?» Пустынник этот (повторяю) вышел на свободное пустынножителство, послуживши смолоду покорно или другому пустыннику-старцу, или многолюдной общине. Аскет нужен, как путеводная звезда, как *крайнее* выражение православного отречения и нам монахам-непустынникам, и многим

мирянам, которых воображение требует сильных впечатлений. Аскет нужен мирянам и Церкви; монастырь нужен аскету; он изредка придет в обитель; он причастится в ней, он побеседует с духовниками; он и сам подаст им советы, если они его спросят. Монастырь нужен и мирянину, как посредствующее звено между городской роскошью и сырой пещерой пустынника. Богатый горожанин хочет видеть пустынника. Он приехал издалека. Где он успокоится и отдохнет? Где ему будет ночлег, гостеприимство; где та беседа, которая ему нужна? Конечно, не в самой пещере или хижине аскета. Строгие, истинные аскеты (какие и теперь существуют, слава Богу) не любят посещения. Они, как огня, боятся репутации святости. Придите – они не прогонят вас, они будут и говорить с вами, но, конечно, не будут зазывать к себе. Зачем им посетители? Одно смущение! Денег они не берут; питаются иные от какого-нибудь рукоделья, посылая, например, послушника своего продать на базаре деревянные ложки своей скромной работы; другие и того не имеют, а ожидают, чтобы им из монастыря соседнего дали суха-

рей. Живут они на Афоне в таких местах, которые доступны не всякому человеку и не всякому здоровью. Вот, например, как описывает один лично знакомый мне автор, человек очень правдивый и умный, образ жизни и жилище строгого афонского отшельника:

«Испытавши все степени трудов и лишений пустынной, в диких местах, жизни, о. Пахомий, наконец, вселился в упоминаемой выше пещере, в которой никто из обыкновенных людей жить не может; так что самые строгие отшельники дивятся его необычайной решимости и самоотвержению.

Но нужно было о. Пахомию получить еще от духовника благословение на водворение в новой пещере. Желая, чтобы духовник выслушал его без предубеждения и отечески, о. Пахомий стал говорить, что, проживая временами в такой-то пещере, не ощущает никакого вреда и проч., – и убедил, наконец, духовника пойти с ним и посмотреть его пещеру. На месте, выслушав опять исповедные слова старца, – что он ощущает великую пользу от совершенного удаления от всяких попечений и что избранная им пещера вполне соответ-

ствует его духовному настроению, духовник соизволил его желанию и благословил водвориться ему в этой пещере, но только в виде опыта, а если не сможет жить, то переселиться вниз – ближе к морю. Много прошло времени, пока духовник окончательно благословил о. Пахомия водвориться в пещере.

В этой пещере сухо и тепло бывает только зимою, когда заметает ее всю совершенно снегом. Недавно кто-то снабдил о. Пахомия рубашкою или двумя, обувью, постилкою, подрясником и рясою; все это вместе со священными книгами, какие он имеет, бывает тогда только сухо, когда вывешивается на солнце, ибо в пещере сырость, и сырость всегдашняя. Некоторые из ревнующих подражать жизни его решались проводить у него малое время; но, как видно, не стяжали еще веры не колеблющейся, и все, при виде холодного и сырого камня пещерного, усомневались и пострадали различно: у одного иеромонаха в одну ночь все тело покрылось волдырями, как бы кто усыпал его горохом; другой простудил половину тела с той стороны, какою лежал к стене пещеры, успокоившись

после мирного ночного подвига; а некоторые пострадали расстройством желудка и теперь боятся Пахомиевой пещеры как огня.

Проводя подвижническую жизнь в таких местах, где неоткуда было достать хлеба, о. Пахомий приучил себя к такой пище, которую редко кто может кушать! И доднесь он употребляет почти одно и то же: натолчет, например, камнем гнилых каштанов, прибавит, если есть, сухарей, тоже зацветших, положит все это в воду и, заболтав мукою, иногда варит, а то и так, – и кушает себе на здоровье, прибавляя иногда дикие сухие плоды, которых никто не станет кушать и свежими, – и удивительно, остается здоровым!!

Удивительная в нем черта всецелой преданности Промыслу Божию! Как бы в чем он ни нуждался, никому не скажет о своей нужде, оставаясь и теперь нередко без сухарей; а если сам кто вызовется что дать ему, усмотрев его крайнюю нужду, то старец примет, как посылаемое ему от руки Божией. Разительнее всего преданность воле Божией, как плод живой, действенной веры, обнаруживалась в о. Пахомий во время болезней; тут ни

лекарств, ни удобств больному никаких нет, да что говорить об удобствах, когда и воды подать некому и неминуемо приходится умереть от одного только голоду и жажды! О. Пахомию только и зрится один Бог. Который послал ему болезнь. Который силен исцелить его или призвать его к вечной жизни; он в руках Божиих как бы весь, выражаясь в словах, часто им произносимых: «Да будет воля Твоя! Слава Тебе, Господи!» Что бы с ним ни случилось, он все примет одинаково – с благодарностью и преданностью Господу.

Родом о. Пахомий – сербин; говорит по-славянски, примешивая немного болгарских слов; беседу его понимать русскому можно. Но как сладка его беседа, выражаемая самым простым сердечным словом, – это можно только испытать, а передать почти невозможно. Судя по настоящей обстановке о. Пахомия и неразвитости его в прежнее время, нужно бы заключить, что ему естественно дойти до состояния звероподобного и потерять самую способность мыслить по-человечески, но опыт показывает другое. Господь может, видно, и без книги отверзать ум к ура-

зумению таких тайн, кои навсегда останутся недоступны для мудрецов века сего. Да и как же иначе? Они, эти дикари, полузвери пустынные, верят от всего сердца всему сказанному Господом в Евангелии; сомневаться поученому они не умеют и приступают в полном смысле слова – в простоте сердца ко Господу, сказавшему: «Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим!»

Святая улыбка всегда сияет на лице о. Пахомия, как будто всем он обилует, все ему служат, над всеми он царь! Да и в самом деле – о чем ему скорбеть и сокрушаться? Нет у него сухарей, одежды или обуви?.. Что ж? У него есть Бог, который все это видит и, как Ему угодно, так о нем и промышляет. В сем старец уверен так же, как и в том, что имя ему Пахомий. Сыро и холодно в его пещере, и нечем защитить ее, по крайней мере от снега, так что все у него мокро и плесневеет?.. Зато у него есть терпение, в которое он облекся как в броню! Постигают его существенные бедствия, скорби монашеские и искушения от злокозненного врага? Зато у старца столько

преданности воле Божией, что хоть пусть столкнутся небо и земля и все превратится, – его ничто не потрясет и не поколеблет! В самом деле, что может поколебать эту адамантову душу, если он в Боге и Бог в нем?!

В апреле 1869 года мы нарочно ходили к о. Пахомию. О, как мы утомились, пока достигли его обители! Это неизобразимо! И ноги подламывались, вовсе отказываясь двигаться, и утомление было такое, что хоть ложись среди дороги! К нашему горю, или испытанию, пришедши, мы не застали о. Пахомия в нижней его пещере, – он должен был находиться или в отлучке, или в верхней пещере. При взгляде на подъем туда я и другие спутники окончательно отказались взбираться туда; вызвался же сходить один пустынножитель-пещерник, бывший на этот раз нашим проводником. Как он взбирался туда, – это нужно было видеть!.. Тут мы еще больше убедились в невозможности взойти туда нам, хотя бы мы вовсе были не утомлены; ибо, кроме невероятной трудности подъема, угрожала еще опасность опрокинуться, скатиться вниз и жестоко разбиться. Долго мы дожидались,

разместясь в нижней трехэтажной пещере о. Пахомия, где горела Лампадка пред иконою Божией Матери, разливая свой тихий свет на мрачные стены сырой пещеры и проливая в душу иной, тихий и сладостный свет от Самой Благодатной Игуменьи Афона. Желая рассмотреть, далеко ли протягивается пещера о. Пахомия, мы стали взбираться по камням вверх, но свечи наши скоро потухли от густоты спертого сырого воздуха, и мы не могли потому дойти до конца пещеры. После долгого ожидания я стал опасаться за целость посла и отправился посмотреть, не увижу ли кого. И что же? В это время ожидаемые нами вдвоем спускались по скале: старец был впереди и полз уже от места, где кончилась веревка, а проводник-пещерник спускался, держась еще за нее и подвигаясь к концу ее. Ужас и оцепенение овладели мною. Я смотрел на них несколько минут, и, пока они не стали уже твердою ногою на землю, у меня заболело сердце! Что, если ради нас спускаясь, старец или посланный за ним поскользнутся и разmozжат себе головы?.. Я был между каким-то неизъяснимым страхом и радостным

ожиданием и упал бы в ноги старцу, прося простить, что мы его беспокоили и подвергли опасности спускаться для нас, если бы не знал, что выражением уважения и особенного внимания к его жизни можно оттолкнуть его от искренности и простоты обращения. Почему, сдерживая слезы радости, начал я упрекать его, предваряя свидание свое с ним и говоря: «Зачем ты, отче, забрался в такую даль? Мы так утомились, идя сюда, что сил не стало и едва добрались до тебя!» Это я говорил, пока он приближался по тропе ко мне. За плечами у него была торба; одежда на нем была хоть худенькая, но полномонашеская; под ряскою виднелась ветхая схима, на камиллавке толстого сукна накинута худая наметка (креп). Постническое лицо его выражало строгость его жизни и невольно производило какое-то благоговейное впечатление. Приняв вину на себя, старец с удивительным сердоболем стал кланяться и просить прощения за утруждение нас. Говорил же это с такою убедительностью, что я уже и пожалел о высказанных вольно словах, видя, как старец искренно испрашивал прощение, будто дей-

ствительно был виновен».

Вот каковы афонские пустынноики и вот как они живут!

Разве может при таких условиях всякий мирянин, поклонник проникать к таким людям?

Поклоннику нужно гостеприимство обители, нужна литургия, иконы, мощи святые, ему нужна еще прежде созерцания и оценки подвигов аскетических поэзия богослужения нашего и хоть немного философия Православия, книга хорошая, разговор неспешный и досужный со знающими людьми... Вот это все он найдет в обители.

Итак, если я служу лишь одним телесным или практическим трудом на вещественные нужды киновии, я косвенно служу всей Церкви, которая есть не что иное, как земное, реализованное в общественной жизни Слово Самого Христа. Копая виноградник, я служу Христу; управляя имением, которое дает пшеницу и хлеб насущный братии монастырской, я служу Христу; еду я через моря на острова греческие покупать масло или машину для выделки того же масла дома из наших

афонских олив, переносу я бури непогоды, торгуюсь с купцами, знакомлюсь поневоле и дружусь с мирскими людьми, волей-неволей иногда живу их жизнью, ем иногда и сплю не по-афонски, говорю иное, чем на Афоне, вижу вещи, которые меня борят и оскорбляют... Во мне теперь как будто и следа аскетизма не осталось... Я в ужасе, я каюсь, я утомлен; но воспоминание о том, что меня послал начальник, избранный братиею, ободряет и утешает меня. Вспоминая о словах игумена и о нуждах братии, я и в шумном городе, где рядом с моей комнатой играет музыка и слышны песни и пьяные крики из дома терпимости, могу, помолясь, успокоиться мыслью, что служу обители, одной из неподвижных звезд, рассеянных по миру Православному и озаряющих его. Монах нейдет на проповедь, правда; но монастырь принимает набожных гостей, и несколько недель или месяцев жизни при хорошем благочинном монастыре поучает лучше всякой навязчивой проповеди на миру. Прекрасно ходить со светильником между людьми; но хорошо организованная обитель есть уже своего рода пропаганда не словом, а

делом самим. Монашество есть, положим, крайнее выражение христианства. Но сила крайности подразумевает неизбежно, *органически*, так сказать, и прочность чего-то среднего, однородного с ним; но не крайнего, за сим стоящего в порядке развития.

С первого взгляда кажется, например, что монашество, отрекающееся от семьи, есть логическая антитеза семьи. Однако на деле оказывается иное. Брак есть своего рода аскетизм, своего рода отречение. Строгий, религиозный, нравственный брак есть лишь смягченное монашество: иночество вдвоем или с детьми-учениками. Если отвергнуть *Таинство* в браке, если лишить его церковного смысла, то что можно противопоставить изящному жорж-сандизму, или вольным и веселым сходкам в хрустальных дворцах (?) Чернышевского (?), или дружеской аристократической сделке людей хорошего общества, подобной тому соглашению, которое, говорят, существовало между знаменитым Меттернихом и его женой? Они, говорят, согласились помогать друг другу в карьере и не мешать друг другу в сердечных делах.

С точки зрения счастья, *эвдемонизма*, – чем они были не правы? Кому они мешали? Они были довольны друг другом, *приблизительно*, как только можно быть довольным на земле?

Какую логику, какую идею мы противопоставим идее *эвдемонического согласия* двух лиц? Долг? Какой? Против кого? Противу светского *общества*? Что ему за дело, если мы никого не оскорбляем? «*Vivons et laissons vivre*»[4]. Мы добродушны, с нами весело, мы изящны даже; у нас в доме хорошо, еще приятнее от той *свободы*, которая в нем царствует... Не беспокойтесь, образованное общество ловких людей в этом роде не могло и не умело никогда казнить.

Лучшие поэты их воспевали, мыслители считали за честь бывать в их доме; им никто не отказывал во внешнем почете, если они умели быть полезными государству или приятными народу...

Какой еще *долг*? Долг относительно друг друга? По понятиям *эвдемонической*, прогрессивной религии, долг состоит лишь в том, чтобы сделать избранную подругу *счастли-*

вой; надо стараться, чтобы она как можно веселее и приятнее провела молодость свою.

Что еще мы можем противопоставить идеалу такого веселого сожителства или требованиям фантазии, уже слишком широко и необузданно развитой?

Чувство *чести*? Это чувство условно, и сколько мы видим людей высокообразованных, но христиански неразвитых, которые за косой взгляд или грубое слово вызовут на поединок друга и в наше не рыцарское время, а скажи иному из этих светских людей в минуту полной искренности о *чести* его жены, и он, может быть, ответит тебе: «Ах, батюшка, ну что за честь? Жена моя, к несчастью, не хороша и не ловка, на нее никто и не смотрит... Какая там честь! Что за предрассудок!.. Est-ce qu'un homme distingue peut avoir le mauvais gout d'etre bourgeoisement jaloux de sa femme legitime?[5] Это хорошо моему управляющему Карпу Федоровичу. Он ничего лучше своей Шарлотты Егоровны не видал. Так, разумеется, ему и она в диво».

Еще что? Полицейские меры? Государственные? Гражданский брак? Да, если мы хо-

тим строить общество в *принципе* на лицемерии, на обмане, на внешнем формальном соглашении. Но не будут ли правы коммунисты, когда скажут на это: «Хорошо и это пока; это еще шаг по нашей дороге; Святыня убита в принципе. Квартальный или мэр какой-то записывает в книгу, с какой именно женщиной вы желаете приживать таких детей, которых общество назовет «законными». Но так как везде уже права сословий более или менее сравнены и долго стоять на месте нельзя, то скоро не будет никакой особенной разницы между законным и незаконным ребенком. Гражданский брак должен будет пасть как бессмысленное, само себя пережившее учреждение...»

Octave Feuillet прав в своем романе «Sybelle», утверждая, что только в религии, в идеале церковном брак тверд и осмыслен... Частные, случайные ошибки и уклонения, увлечение страстью мгновенное – не разрушат ничего, если основа цела. Церковь прощает; и супруги могут простить друг другу... Но как? «*Иди теперь и не греши!*» «Боже! Прости ему или ей! Прости так, как я простил!»

Это другое дело.

Об этом я мог бы еще много, много говорить. Я воздерживаюсь, чтобы не забыть надолго Афон и монахов.

Теперь, кончая это письмо, я скажу тебе только еще раз вот что. Для семьи нужна Церковь, для Церкви *Православной* необходимы примеры крайнего аскетизма; для аскетизма нужны монастыри, для монастырей необходимы не только духовники, богословы, иеромонахи, служащие в церкви, певчие, поющие псалмы, — для них необходимы и экононы, практические иноки, которые заботятся о хозяйстве монастырском, о приобретении средств на убранство храмов, на воздвижение жилищ, на утварь, на пропитание самое скромное и нередко даже на угощение посетителей, из которых многие молиться желают и видеть постящихся очень рады, но сами поститься слишком серьезно не хотят.

Итак, скажи доброму семьянину, которому судьба послала дом и хороших детей, чтоб он не оскорблялся, когда такой *практический* инок стучится в его дверь за подаванием. Пусть он не возмущается тем, что этот инок

ему не кажется строгим *аскетом*. Строжайший аскет остается дома; он и не сумеет пойти на сбор; монастырь вынужден на это благословлять людей иного рода. И почему еще знает наш добрый семьянин, *каков* этот самый инок *дома, в обители?* Какую жизнь он ведет там, возвращаясь в свою настоящую привычную среду?.. Быть может, он и аскет высокой степени?.. Но он умен, и здесь он не хочет быть педантом, боится прослыть лицемером и испортить тем отчасти дела своей обители?..

Великое дело монастыри в Православной Церкви! Пусть в них есть свои недостатки, свои страсти и пороки...

Если войско страдает недостатками правителя и нации, – ищут исправить их, а не *распускают* армий.

Без монастырей, без этих *скопищ*, так сказать, *крайнего отречения* пали бы последние основы для поддержки того *среднего отречения*, которое необходимо для хорошей семьи... *Сизигос* (супруг) по-гречески значит со-яремник, со-яремница, если переводить яснее и ближе к современному языку. Вот как пони-

мала брак всегда Православная Церковь.

И не вернее ли это аскетическое понимание, не ближе ли оно к действительности, чем всякая *эвдемоническая* идеализация брака? Нежели все еще мечтать об игривом и тихом, о нерушимом счастье и согласии, после которых настает почти всегда разочарование и раздор или полная, ровная проза, если нет в *углу лампы* перед образом... Понимаешь?

Для некоторых, в других отношениях весьма благородных натур, брак сам по себе был и будет всегда прозаичен и скучен, если рассматривать его только с точки зрения наслаждения или полуромантического сладострастия.

Ведь это истина жизни. Как ее отрицать? И кого мы обманем, отрицая это? Напротив того – поэзия брака и семьи необычайно возвышенна, когда каждый шаг семейной жизни, каждый обычай, каждая черта при воспитании детей озарены идеей Православия и украшены всеми милыми преданиями народной Святыни...

Самая непривлекательная чета, если в ней сильно чувство религиозное, в иные минуты

внушает такую глубокую симпатию всякому благородному сердцу, какую не может внушить никогда «рациональный» супруг, Бог знает почему верный своей «рациональной» супруге!..

Что ж сказать? Видно, вкус такой. А мне бы давно надоело ее честное «рациональное» лицо; у всякого свой вкус... И больше ничего!..

Письмо 4-е

23 июля 1872 г.

Я замечал в тебе не раз еще давно, когда ты только что начала выходить из детства, что монахини, особенно молодые, тебе нравятся, а монахи нет. Я помню не раз, как ты сама, ничему не молясь, хвалила мне пение и службу в одном девичьем монастыре, как ты любила в него ездить, хвалила некоторых из этих «милых и бедных девушек» (так ты выражалась тогда). Я помню также, что ты очень обрадовалась тому романтическому окончанию жизни, на которое хотела было обречь себя одна особа царской крови; мне кажется, что этот разговор был о супруге Неаполитанского короля Франциска. Когда ты прочла случайно в газете о том, что она намерена заключиться в женский католический монастырь (помнишь, мы сидели все в большей зале тогда?), ты сказала: «Как я рада, что эта королева решилась быть монахиней! Уж давно что-то никто в монастырь не шел!»

О том, что Лиза Калитина была всегда любимой героиней твоей, я уже упоминал, ка-

жется, прежде...

Отчего же ты не любишь монахов?.. Отчего ты мне однажды писала так: «Если бы я могла верить, что есть на свете *хоть один добросовестный*, верующий, хороший православный монах, я поняла бы твое желание жить при монастыре... Но разве эти люди могут понять порядочного, развитого человека? Что они сделают из него... если он им отдаст себя в руки?»

Положим, это ты писала мне лет семь тому назад, когда раз в минуту тоски я признался тебе одной, что мне следовало бы, кажется, кончить жизнь при монастыре православном, если не монахом, то одним из тех вечных поклонников, которые доживают свой век при обителях. Отчего эта разница?

Или ты находила (и, может быть, находишь), что религиозность женщинам *идет*, а мужчинам не пристала?

Одна молодая католичка, красавица, воспитанная в Сирии почти в диких горах, ибо отец ее имел за городом заведение для шелка, рассказывала мне очень простодушно, что «папа всегда смотрел строго, чтобы все доче-

ри его были религиозны... Он говорил нам часто: «Une femme doit avoir de la religion[6]; мужчина – *дело другое!*» Он сам никогда не исповедовался и в церковь почти не ходил».

Молодая женщина эта и не думала шутить над отцом или осуждать его. В семьях тех епископов[7], которые воцарились во Франции на развалинах изящного и верующего феодализма, такой порядок очень обыкновенен. Мужчина сам не верит ни во что, кроме «славы Франции, передовой нации вселенной», кроме своих прав на все выгоды, и удобства, и разумности демократии, но жену и дочерей он посылает в храм и на исповедь. «Больше слушаться будут!»

Ты так думать не можешь, как может, в пустоте своей и слабоумии, думать отец семейства из выдохшейся, современной нам французской буржуазии.

Такого порядка у нас в России нет; у нас религиозность и безверие распределены как пришлось между женщинами и мужчинами.

Эгоистических, тайных соображений у тебя при этом быть не может.

Итак, остается одно: чувство твое, чувство

просто эстетическое...

Быть может, и то, что тебе случилось знать нескольких хороших монахинь; а монахов (я *это* знаю) ты ни хороших, ни дурных до последнего времени не встречала, разве на улице и изредка, изредка в какой-нибудь петербургской церкви, в которую ты случайно заходила иногда от скуки или из какого-нибудь любопытства.

Потом надо вспомнить, кем и чем ты была окружена с детства; ты была окружена газетами, в которых близкие тебе люди принимали участие; газетами, в которых смеялись над И. Аксаковым за то, что он позволил себе назвать «*ароматом добра*» то чувство, которое объединяет на мгновение душу дающего милостыню и душу принимающего; людьми, подобными тому седому родственнику твоему, который, узнавши, что я уехал жить на Афон, написал из приязни ко мне длинное письмо (помнишь, как я смеялся над этим письмом?) о том, что *в наше время* монахом может стать только идиот или мошенник, что умнее расходовать лишние деньги на шлейфы и шляпки молодых любовниц, чем на рясы и клобу-

ки каких-то дураков. Что в наше время нельзя ожидать, чтобы человек, который смолоду занимался естественными, реальными науками (это все я), чтобы этот человек в здоровом состоянии ума мог верить в пострижение, Православие и т. п. «При сильном воображении своем он увлекся эстетикой монашества, быть может, и раскается скоро!» – прибавил твой седой мудрец.

О, мудрец! О мой бедный продукт журнального петербургского мира!..

В наше время!.. Что такое *наше время*? Его время – вовсе *не мое* время, быть может... Он живет вчерашней *остылой новизной*, которая по закону инерции еще действует нынче и будет действовать и завтра, все расширяясь и расширяясь, но и *слабея* вместе с тем... А я?.. Если он, твой седой циник и любезный к дамским шлейфам утилитарист, признает во мне сильное воображение, эстетическую развитость и даже некоторую долю этих знаменитых *реальных* знаний, с которыми нынче все нянчатся, как дурни с писаною торбой... Если он все это придает и приписывает мне, но тем хуже для его взглядов...

Разум мой, как видишь, что-то не слишком поврежден как будто бы... *Мое* время – не его эпоха...

У меня есть *мое* время, во-первых, и в настоящем, ибо «не о Петербурге едином жив будет русский человек», – но «о всяком глаголе, исходящем из истинно русского сердца...»

Я даже не хочу утверждать здесь настойчиво (именно здесь, в *этом* письме), что идеал *эвдемонического прогресса* глуп и даже *ненаучен* (хотя это, по-моему, доказать нетрудно). Сегодня я скажу только, что всякая философия, имеющая практические выводы для жизни, всякая цивилизация – *эвдемоническая* или аскетическая; религия *умеренного* всеобщего, плоского эпикурейства и религия христианских, свободных ограничений – одинаково имеют в числе слуг своих и мудрецов, и простых людей. Так было до сих пор. Сравни, например, Иоанна Дамаскина и Павла Простого. Оба причтены к лику Святых. Иоанн Дамаскин – аристократ, вельможа, сын правителя города Дамаска, любимец своего мусульманского государя, философ, занимавшийся метафизикой христианства, публи-

цист православный, который боролся письмами противу византийских императоров, желавших уничтожить поклонение иконам... поэт вместе с тем, сложивший множество молитв...

Павел «Простой», напротив того, был крестьянин. Он давно хотел быть монахом, но он был женат; жена изменила ему; он обрадовался и убежал к Антонию Великому в пустыню. Антоний не знал, как бы испытать его и каким делом сначала его занять. Он велел ему плести веревки. Павел старательно свил их. Антоний велел их расплести; Павел с радостью расплел их. Антоний велел ему шить одежду; велел распороть и снова сшить. Павел все исполнял охотно, не спрашивая даже, к чему эта бесполезная работа. Антоний не давал ему есть; он не просил. Тогда Антоний оценил и полюбил его.

Павел был крестьянин и совершенный невежда. Но разве св. Иоанн и св. Павел этот не были люди одной и той же идеи, одной и той же цивилизации? Иоанн понимал все *in extenso*, в развитии; Павел знал только, что Христос – Сын Божий, что Его распяли за нас

и нам хорошо и полезно за Него распинать себя... Вот и все. А до подробностей он и доходить не хотел и соглашался свивать и развивать веревки всю жизнь свою по указанию более знающих людей!..

Таких Павлов в России еще довольно, и слегка грамотных, и вовсе безграмотных. И я не нахожу, чтоб они были невежественнее французского или итальянского работника, бунтовщика и коммуниста, который в такой же пропорции состоит к Кабе, Фурье или Прудону *по экстенсивности* и логической выработанности своих мыслей, в какой Павел Простой состоял к Иоанну Дамаскину или нынешний крестьянин-богомolec русский – к Филарету Московскому или Хомякову.

Иоанн, Филарет, Хомяков – сознательные, философски развитые продукты византийской, аскетической культуры; Павел Простой и сельский богомolec наш – наивные произведения той же аскетической цивилизации. Сильная вера сердца в два-три раз и навсегда принятых положения, в две-три идеи, нисшедшие в краткой и доступной квинтэссенции из высших сфер этой цивилизации. Вот

их умственный запас.

Фурье, Прудон, Базаров – сознательные, более или менее тоже философски развитые продукты не *всецелой* европейской цивилизации, а той *последней, вчерашней, эвдемонической, утилитарной* культуры, которая на всех углах кричит с XVIII века: «le bien-etre, le bien-etre des peuples»[8], которая в лице Ламене бессовестно и подло искажает смысл Евангельского учения, уверяя простой народ каким-то лжебиблейским языком, что надо бунтовать против властей. А работник, бунтующий и едва грамотный, – это наивный, гадко наивный, грязно наивный, но все-таки наивный (в смысле слабой сознательности) продукт того же *вчерашнего* эвдемонизма. Он знает одно: «Il n'y a ni Dieu, ni diable; tous les hommes sont egaux» или «doivent l'etre...»[9] И жжет Париж с твердой верой сердца в эти две-три фразы, дошедшие постепенно до него из книг, разговоров и газет.

В России глубоко перемешаны и перепутаны теперь эти две культуры – византийская – аскетическая и неофранцузская, эвдемоническая. Вот и все. Живем мы, правда, все *в одно*

время, но живем *не одним* и тем же...

Антиподы живут на одной и той же земле, но в одно и то же время одного из них освещает солнце, а другого какая-то унылая, холодная луна!

Твой седой родственник живет вчерашней новизной; если он мне сам присвоил сильное воображение и эстетическое чувство, то пусть он вспомнит, что люди с сильным воображением всегда предчувствовали *заранее* то, к чему приходили четверть века, полвека, век спустя, толпами люди, менее их одаренные фантазией.

Робеспьер практической гильотиной несколько десятков лет спустя старался осуществить *мечты* Руссо. Итальянское единство, как бы оно ни оказалось бесплодно и для Италии, и для человечества, но все-таки осуществилось как факт после стольких *мечтаний*, после стольких предтеч, одаренных фантазией... Германия в Бисмарке обрела реального истолкователя стольких прежних отвлеченностей... На худо или на добро для немцев в будущем – это иной вопрос.

Поэты социализма Сен-Симон и Фурье не

дожили до 48-го и 71-го годов.

Я верю, что в России будет пламенный поворот к Православию, прочный и надолго... Я верю этому, потому что у русских *болит душа*... Я верю этому потому, что нигилизм в сфере мысли *уже прожит* нами, и теперь вместо Базаровых, ушедших в Сибирь или в могилу, – он дает лишь не очень опасных Пыпиных или глупых Скабичевских каких-то, которые топорно валяют в своих критиках, что *Катерина Островского* должна бы обучиться естественным наукам и тогда бы все на свете было бы хорошо...

Распространяться в низшие слои наши нигилизму было бы легко, ибо много мудрости не надо, чтобы из *аскетической* наивности перевести народ в *эвдемоническую* глупость... Но с Божьей помощью будем надеяться, что люди власти у нас не будут больше либеральничать, не будут зря спешить каким попало обучением народа из подражания соседям, которые еще не сказали *последнего слова* своего и у которых тоже, вопреки всей хвастливости их, есть много залогов *романской* анархии, особенно *после объединения*... Разделе-

ние Германии мешало, правда, иногда единству *порядка*, но оно мешало зато и единству *анархии*... *Это надо помнить!*..

И если у нас будут с Божьей помощью это помнить, то можно надеяться, что эвдемонические влияния у нас ограничатся не разгромом, а лишь *частными превращениями*, без которых жить в истории, конечно, нельзя...

Православие византийское, как известно, имеет в себе, между прочим, две стороны: для государственной общности и для семейной жизни – оно есть религия *дисциплины*. Для внутренней жизни нашего сердца – оно есть религия *разочарования*, религия *безнадежности* на что бы то ни было земное.

От некоторых мест Чайльд Гарольда можно перейти без всякого усилия и почти незаметно к иным местам Давидовых псалмов, а от псалмов Давида – ко всей христианской церковности.

Два величайших лирика всего мира могут легко примириться в больной и тоскующей русской душе. И вольно же было сухим умам *мировую тоску*, тоску безграничную ненасытной и широкой души сводить на мелкое

гражданское недовольство современностью, вместо того чтобы разрешить ее в Боге?!

Понял ли бедный Герцен перед смертью, какой решимости у него не достало?

Хорошо и то, что он разочаровался в чисто утилитарном прогрессе и понял, что он и один он ведет или к ужасному кровавому безначалию, или к отвратительной прозе всеобщего мелкого однообразия, предлагаемого Прудоном, или... (и это всего вернее), что, давши кой-что новое миру в экономическом порядке, этот утилитаризм сопрягается разнообразно с прежними историческими началами. И только! Благоденствия общего и субъективного все-таки не будет.

За эту строку об исторических началах Герцену многое прежнее и вздорное его можно искренне простить.

Нет! Православие или, другими словами, культура византийской дисциплины и земного аскетизма есть единственный противовес теории всеобщего, мелкого удовольствия... И лучшая пища и ограда тому, кто разочарован и для себя, и за других, и за будущее друзей и близких своих, и за будущее всего челове-

ства, понятое в смысле всеобщей пользы.

Кто *графически* изобразил историю земного прогресса?

Кто скажет с *реальной точностью*, как вернее изобразить его: как прямую лестницу, наверху которой приготовлены всем *равные* или приблизительно равные награды, так что и зависть станет невозможна... Или в виде широких, все больше и больше расширяющихся кругов, неизбежно перевитых и душистыми цветами, и ядовитыми, нестерпимыми терниями?..

Сообразно с *реальными* фактами, с примерами самой природы, вне человека стоящей, с явлениями современной и прошедшей истории, с психологией нашей, которая требует попеременно отдыха и борьбы, которая жаждет разнообразия и перемен, – надо думать, что бесконечные круги более похожи на историю земного прогресса, чем чертеж прямого утилитарного восхождения посредством реальных наук, обращенных на службу равенству людей и братству народов; не сердечному и теплому братству внезапного, личного, живого чувства, а братству юридическому,

насильственному, предупредительному и всегосударственному!

Фу! Что за скука! С какой я стати буду насильственно брат какому-нибудь немецкому или французскому демократу, которого даже портрет в иллюстрации раздражает меня?..

Если я *христианин*, то я заставлю замолчать эту свою *художественную* брезгливость... А если я не христианин? Тогда меня может заставить замолчать только один страх перед толпой людей, менее меня развитых...

Хорош же прогресс!.. Если более развитой человек должен трепетать тех, которые тупее, глупее, грубее, пошлее его...

Довольно! Довольно!!!

Примечания

1

В греческих церквах вокруг стен устроены особые места, чтобы облакачиваться.

[^^^]

В Ростове публика попрличнее (*фр.*)

[^^^]

3

Я этого не переношу (*фр.*)

[^^^]

4

«Будем жить и дадим жить другим», (*фр.*)

[^^^]

5

Разве может человек утонченный ревновать свою жену? Это признак дурного вкуса, (*фр.*)

[^^^]

6

«Женщина должна быть набожной» (*фр.*)

[^^^]

бакалейщиков (фр.)

[^^^]

«благосостояние, благосостояние народов» (*фр.*)

[^^^]

Нет ни Бога, ни черта; все люди равны или должны быть равны» (*фр.*)

[^^^]